

Прочитал сегодня фейсбучный роман «Вот жизнь моя» Сергея Чуприна, и как-то горько стало (в очередной раз) и обидно донельзя за отношение людей к своему времени, к окружающему миру, к самим себе, в конце концов. Трактовок тютчевского — «Блажен кто посетил сей мир в его минуты роковые...» — множество, но при всей красоте фразы я с ней глубоко не согласен. В первоначальной редакции, кстати, у Фёдора Ивановича было «счастлиВ». Не только несчастлив человек в «минуты роковые», но и верных оценок себе и этим минутам дать не в состоянии, так как в силу обстоятельств и своей вовлечённости в них не имеет ни времени, ни возможности оценить всё объективно. Подлинной объективности, конечно, не может быть в принципе, но тяга-то к ней неистребима.

Сергей Иванович пережил слом эпох, крушение государств, формирование иных общественных отношений, провёл довольно насыщенную — в смысле окололитературного вращения — жизнь. Родившись в лагерном (а как же!) архангельском лазарете, про-



живает (дай ему бог здоровья) в Москве, будучи главным редактором столичного журнала. Ему Окуджава хочет немного франков одолжить, с ним Межиров делится своими ресторанными предпочтениями, у него Гамзатов чуть спутницу из-за стола не уведит. Да и проживает наш автор на даче, которую до него арендовал Солоухин. Всё тип-топ! Я это без сарказма говорю. Всё так, без сомнения, и было. Но вот этот лёгкий налёт: «...всем современным, “савецким”, в общем-то, брезговали» — меня не то чтобы сильно коробит. Просто я таким налётом тоже брезговать начинаю. Или про отдых с семьёй в Болгарии: «Советских мы чуть-чуть стеснялись, с немцами и шведами без языка особо не разговоришься, поэтому жили сами». Но главное, что совершенно уже непереносимо, — это то пренебрежительное, что сквозит во всём тексте: «Где-то ближе к концу 1970-х был большой писательский десант в Новосибирск: то ли пленум очередной, то ли Декада советской литературы, то ли ещё что, доброго слова не стоящее».

В порядке сноски, а их Чупринин очень любит, я поясню, что молодых, никому не известных писателей из разных мест и глубиннок бережно собирали, везли на самолётах за тысячи километров, оплачивали им жильё, кормили, поили, чтобы могли они пропагандировать своё творчество, знакомились друг с другом, со старшими коллегами по цеху и с будущими читателями... В какой стране такое ещё возможно? Скажу больше, писатели эти сами всеми правдами-неправдами добивались участия в таких десантах, боролись за них, стремились. Но это тогда. А теперь маститый автор нам поясняет, что всё это «доброго слова не стоило»!

Нет, никакой особой антисоветчины в романе нет. Всеми облаканный и вполне официальный редактор столичного «толстяка» может, походя, вспомнить и о гигантских гонорарах, и о том, что за книгу прозы квартиру в Москве можно было купить. Даже фраза — «А вы ещё говорите, что Советская власть плохо содержала своих писателей!» — может проскочить. Но та неприязненная легковесность, с которой он описывает прошлую жизнь, словно перхоть на пиджаке рассматривает, невольно заставляет меня морщиться.

Для него, человека из архангельской глубинки «советская власть, не к ночи будь помянута, существовала так долго, что и в ней успело нарасти кое-что хорошее». А ведь не в советской власти дело. Это был тот высокий, не побоюсь этого слова, уклад родной ему (ибо другой не случилось) жизни, где, разумеется, была масса недостатков и всякого рода неприятных мелочей, но было главное — провозглашён примат науки, культуры и искус-

ства над золотым тельцом. Была попытка отринуть межрелигиозную и межнациональную рознь, не было неравенства по праву рождения, отсутствовала эксплуатация человека человеком, и звание творца стояло так высоко, как в других странах могло стоять только звание какого-нибудь графа. Интересно, Ломоносов, родившийся примерно там же, где и Чупринин, и тоже осевший в столице, мог бы так пренебрежительно написать о своём, куда более социально неустроенном времени?

Такое впечатление, что автор — не сын отечества, не почтенный гражданин со всеми вытекающими, а какой-то школьник в пионерском лагере: всё для него какое-то чужое, не своё, неудобное. Есть несколько дружков-сорванцов и дурацкий распорядок дня. Да, кормят, да, строят на зарядку, да, на прогулки выводят, но ведь воспитывают всё время, купаться в неполюженном месте запрещают, спать укладывают. Вот он и озорничает... Но в меру, чтобы не выгнали. Фига всегда в кармане, смешки над пионервожатыми всегда наготове... Ну, и желание какую-нибудь надпись неприличную на только что побеленной стенке накаркать, пока никто не видит.

Он пишет: «Моё время, время моих ровесников... чужое, полное тайн и загадок для новых, пошедших в рост поколений. Его надо бы объяснить». Но сам он не объясняет его, а снисходительно ухмыляется ему вслед. И ощущения «своего времени» не возникает, несмотря на обилие персонажей и деталей. Он словно не жил там, а зашёл за угол на минутку по необходимости. И, гордясь своей находчивостью, с ухмылочкой рассказал нам об этом. О «своём времени» так не говорят.

Я начал с тютчевских «минут роковых». И в этой связи меня не отпускают ахматовские рефлексии² по тому же поводу:

...Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов.
О, как я много зрелищ пропустила,
И занавес вздымался без меня
И так же падал. Сколько я друзей
Своих ни разу в жизни не встретила...

Сергей Чупринин встретил всех, кого только можно было встретить. Но эти строки намертво прилипают к нему после романа. Мироощущение поэтессы тут очень точно характеризует моё соб-

² А. Ахматова. «Меня, как реку...», 1945 г.

ственное представление об авторе этой книги. Я бы даже продолжил (с поправкой на то, что Сергей Иванович, конечно, мужчина):

...женщина какая-то моё
Единственное место заняла,
Моё законнейшее имя носит,
Оставивши мне кличку, из которой
Я сделала, пожалуй, всё, что можно.
Я не в свою, увы, могилу лягу.

Но есть огромная разница. Ахматова, невероятным усилием, как всякий великий поэт, вырывается из подобного наваждения:

Но если бы откуда-то взглянула
Я на свою теперешнюю жизнь,
Узнала бы я зависть, наконец...

Сергей Чупринин зависти к своей жизни не узнает никогда. Снисходительной улыбкой проводил он её, как некую чужую и «несостоявшуюся», оставив интересные мемуарные заметки о литераторах конца прекрасной эпохи, так и не разглядев ни её саму, ни её прекрасных черт. А жаль.

Собственно, само название романа «Вот жизнь моя» так или иначе обращает к пушкинскому: «Где твой кинжал? вот грудь моя». Не хотел бы стать кинжалом, да и кто я такой, чтобы судить старшего коллегу? Он сам, пытаюсь застраховаться, пишет: «Когда... меня (или поседелых моих товарищей) начинают учить литературу любить и её, литературу, правильно понимать, я — мысленно... спрашиваю: да что ж вы такого написали, золотые мои, что берётесь нам нотации читать и выговоры делать?».

Что можно ответить на это? Что моё мнение об этой книге не выговор, а выражение глубокого сожаления коллеге? Что человек, сам определивший, что он прожил в неправильном, нехорошем, недостойном месте — в действительности, значит, прожил не совсем правильно и не совсем нехорошо? Что и Дон Гуан говорит: «За сладкий миг свиданья безропотно отдам я жизнь». А если жизнь не своя, да ещё и прошла не там и не так, как надо, так чего роптать? За сладкий миг читательского внимания такого добра не жалко. Подчеркну: не своего не жалко. Жалко, если подобной трактовке времени доверятся те, кто растёт сегодня на антисоветской, а по сути, антирусской пропаганде, кто не жил тогда, кто приходит нам на смену.

Санкт-Петербург